

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

„ОТСЮДА и ДОСЮДА“¹³

I

В № 311¹⁴ „Киевской мысли“ г. Нотипцилус¹⁵ возвестил¹⁶, что вся Россия разделилась на два лагеря: „Одни просто любят Толстого, другие — отсюда и досюда“¹⁷. У г. Нотипцилус'а вышло при этом, что люди более или менее передового образа мысли просто любят Толстого; между тем как охранители и реакционеры любят его лишь „отсюда и досюда“. Я не принадлежу ни к реакционерам, ни к охранителям. Этому надеюсь поверит г. Нотипцилус. И тем не менее я тоже не могу „просто любить Толстого“; я тоже люблю его только „отсюда и досюда“. Я считаю его гениальным художником и крайне слабым мыслителем. Больше того: я полагаю, что лишь при полном непонимании взглядов Толстого можно утверждать, как это делает г. Володин¹⁸ в той же „Киевской мысли“¹⁹ (№ 310): „С Толстым радостно. Без Толстого страшно жить“¹⁹. По-моему, как-раз наоборот: „жить с Толстым“ так же страшно, как „жить“ например

с Шопенгауэром. А если этого не замечает, в „простоте“ любви своей к Толстому, нынешняя наша „интеллигенция“, то мне кажется, что это — очень плохой знак. Прежде, скажем, в эпоху покойного Н. Михайловского²⁰, Толстого любили передовые русские люди именно только „отсюда и досюда“. И это было гораздо лучше.

Я знаю, с этим согласятся теперь лишь очень немногие. Но что же делать? Если бы против меня высказались даже все передовые „интеллигенты“ нынешней России, то я все-таки не мог бы думать иначе. Пусть меня объявят еретиком. Это не беда. Еще Лессинг²¹ вполне справедливо заметил: „Вещь, называемая еретиком, имеет свою очень хорошую сторону. Еретик, это — человек, который, по крайней мере, хочет смотреть своими собственными глазами“. Конечно, еще не достаточно быть еретиком, чтобы ясно видеть. Тот же Лессинг не менее справедливо прибавляет: „Спрашивается только, хороши ли те глаза, которыми хочет смотреть еретик“. С еретиком можно, а иногда даже должно спорить. Это так. Но все-таки не мешает иногда выслушать еретика. Это тоже не подлежит сомнению.

Вот я и предлагаю поспорить со мною например г. Володину. Он говорит: „с Толстым радостно“. А я возражаю: „нет, с Толстым страшно“. Кто же прав? Об этом пусть судит читатель, которому я постараюсь разъяснить свой взгляд.

Само собою разумеется, что, говоря: „с Толстым страшно“, я имею в виду Толстого-мыслителя, а не Толстого-художника. С Толстым-художником тоже может быть страшно, но только не мне и вообще не людям моего образа мыслей; нам с ним напротив очень „радостно“.

А вот с Толстым-мыслителем нам действительно страшно. То есть, чтобы выразиться точнее, было бы страшно, если бы мы могли „жить“ с Толстым-мыслителем. К счастью об этом не может быть и речи: наша точка зрения прямо противоположна точке зрения Толстого.

Толстой говорит о себе: „Я пришел, ведь, к вере потому, что помимо веры я ничего, наверное ничего не имею, не нашел, кроме гибели“ [1].

Тут как видите заключается весьма серьезный довод в мою пользу. Человек, который проникся бы настроением Толстого, сильно рисковал бы не найти перед собой ничего, кроме гибели. А это в самом деле страшно. Правда. Толстой спасся от гибели верой. А в каком положении окажется человек, который, проникшись настроением Толстого, останется неудовлетворенным его верой! У такого человека будет только один выход: гибель, в которой, как это всем известно, нет ничего „радостного“.

Каков был тот путь, который привел Толстого к его вере? По словам самого Толстого, он пришел к вере путем искания бога. И это искание бога было, — говорит он, — „не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекло не из моего хода мыслей, — оно было даже прямо противоположно им, — но оно вытекало из сердца“ [2]. Однако Толстой выражается неточно. На самом деле его искание бога вовсе не исключало рассуждения. Это доказывается между прочим следующими строками:

„Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушался и думал

[1] Л. Н. Толстой, „Исповедь“²², изд. Парамонова, стр. 55.

[2] Там же, стр. 46.

все об одном, как я постоянно думал все об одном и том же эти последние три года. Я опять искал бога“.

„Хорошо, нет никакого бога, — говорил я себе, — нет такого, который бы был не мое представление, но действительность, такая же, как вся моя жизнь, — нет такого. И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление, да еще неразумное“.

„Но понятие мое о боге, о том, которого я ищу? — спросил я себя, — понятие то это откуда взялось? И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл. Но радость моя продолжалась недолго. Ум продолжал свою работу. Понятие бога — не бог, — сказал я себе. — Понятие есть то, что происходит во мне, понятие о боге есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, без чего бы не могла быть жизнь. И опять все стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя“ [1].

Это целый диспут с самим собой. Ну, а в диспуте нельзя обойтись без рассуждения. Не обошелся без него Толстой и там, где его мучительный спор с самим собою склонился к отрадному для него выводу:

„Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование бога, ведь, я бы уж давно убил себя, если бы у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу, только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу? — вскрикнул во мне голос. — Так вот он. Он

[1] Л. Н. Толстой. „Исповедь“, изд. Парамонова, стр. 48.

то, без чего нельзя жить. Знать бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь“ [1].

Но конечно не одно рассуждение привело Толстого к его вере. Его логические операции, бесспорно, совершались на основе сильного и неотвязного чувства, которое он сам характеризует следующими словами: „Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь“ [2].

Только это чувство и объясняет нам, каким образом Толстой мог не заметить слабой стороны своего рассуждения. В самом деле. Из того, что я живу только тогда, когда верю в существование бога, еще не следует, что бог существует: из этого следует только то, что я сам не могу существовать без веры в бога. А это обстоятельство может быть объяснено воспитанием, привычками и т. п. Толстой сам говорит:

„И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая, — та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся для меня дали выработало для руководства своего все человечество, т. е. я вернулся к вере в бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была

[1] Л. Н. Толстой. „Исповедь“, изд. Парамонова, стр. 48.

[2] Там же, стр. 46.

разница, что тогда все было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить^[1].

Толстой напрасно считает странным то обстоятельство, что возвратившаяся к нему сила жизни „была не новая, а самая старая“ — детская вера. Странного тут ничего нет. Люди нередко возвращаются к своим детским верованиям; для этого необходимо только одно условие, — сильный след, оставленный в душе такими верованиями. Столь же напрасно Толстой говорит о себе:

„Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему учили, и тому, что исповедовали передо мной большие; но доверие это было очень шатко“^[2].

Нет, память изменила Толстому. По всему видно, что детские верования чрезвычайно глубоко проникли в его душу^[3], и если он по своей впечатлительности легко поддался потом влиянию неверующих товарищей, то влияние это осталось крайне поверхностным^[4]. Впрочем, в другом месте своей „Исповеди“ Толстой сам говорит, что христианские истины всегда были близки ему^[5]. Это несомненно по крайней мере в том ограниченном смысле, что Толстому всегда была близка основа не

[1] Л. Н. Толстой. „Исповедь“, изд. Парамонова, стр. 49.

[2] Там же, стр. 3.

[3] „Воспитанный в патриархально-аристократической и по-своему религиозной среде, — рассказывает биограф Толстого г. П. Бирюков, — Лев Николаевич в детстве своем был религиозен“. (Л. Н. Толстой. Биография. Составил П. Бирюков, том I, стр. 110).

[4] Г-ну П. Бирюкову это представляется так: „Но, конечно, эта рационалистическая критика не могла тронуть основ души его. Эти основы выдержали страшные житейские бури и вывели его на истинный путь“.

[5] „Исповедь“, стр. 41.

только христианского, но и всякого вообще религиозного миросозерцания: анимистический взгляд на отношение „конечного“ к „бесконечному“. Вот чрезвычайно убедительный пример. Мы уже знаем, что, начав искать бога, Толстой переживал тяжелые страдания в те минуты, когда его рассудок отвергал одно за другим известные ему доказательства бытия божия. Тогда он чувствовал, что жизнь его „останавливается“, и тогда он снова и снова принимался доказывать себе, что бог существует. Как же доказывать? А вот как:

„Но опять и опять, с разных других сторон, я приходил к тому же признанию, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пишу в высокой траве, но я пишу от того, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? Опять — бог?“^[1].

Так рассуждают все религиозные люди, совершенно независимо от того, верят ли они в одного бога или же в нескольких. Главная отличительная черта подобного рассуждения состоит в его полнейшей логической несостоятельности: оно предполагает доказанным именно то, что требуется доказать, — существование бога. Раз признав существование бога и раз представив себе бога по-своему собственному образу и подобию, человек затем уже без всякого труда объясняет все явления природы и общественной жизни. Еще Спиноза²³ очень хорошо сказал:

[1] „Исповедь“, стр. 47.

„Люди обыкновенно предполагают, что все вещи в природе, подобно им самим, действуют для какой-нибудь цели, и даже за верное утверждают, что и сам бог направляет все к известной определенной цели (ибо они говорят, что бог сотворил все для человека, а человека сотворил для того, чтобы почитал его)“ [1]. Это как раз то, что предполагается у Толстого: телеология (точка зрения целесообразности). Бесплезно было бы распространяться о том, что объяснения, до которых доходят люди, стоящие на телеологической точке зрения, на самом деле ровно ничего не объясняют и как карточные домики разлетаются от первого прикосновения серьезной критики. Но необходимо отметить, что Толстой не мог или не хотел понять этого. Жизнь представлялась ему возможной только тогда, когда он становился на телеологическую точку зрения: „Как только я сознавал, — говорит он, — что есть сила, во власти которой я нахожусь, так тотчас же я чувствовал возможность жизни“ [2]. Понятно, почему: смысл жизни определялся в этом случае волею того существа, во власть которого отдавал себя Толстой. Оставалось слушаться и не рассуждать. Толстой так и говорит:

„Жизнь мира совершается по чьей-то воле — кто-то эту жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнить ее, делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать то, чего хотят от меня, то и не пойму никогда того, чего хотят от меня, а уж тем менее, чего хотят от всех нас и от всего мира“.

[1] Спиноза „Этика“, стр. 44

[2] „Исповедь“, стр. 47

II

Чего же хочет от всех нас и от всего мира „чья-то воля“? Толстой отвечает: „Воля... пославшего есть разумная (добрая) жизнь всего мира. Стало быть дело жизни есть внесение истины в мир“ [1]. Иначе сказать, „чья-то воля“ требует от нас служения добру и истине. Еще иначе: „чья-то воля“ является для нас единственным источником истины и добра. Толстой думает, что если бы не было „чьей-то воли“, направляющей людей к добру и истине, то они погрязли бы в зле и заблуждении. Это то, что у Фейербаха²⁴ называется опустошением человеческой души. Все, что есть в ней хорошего, отнимается от нее и записывается на счет „чьей-то воли“, создавшей человека, равно как и весь остальной мир. Толстой совершенно опустошает человеческую душу, говоря, что „все доброе, что есть в человеке, — только то, что в нем божеского“. Вот я и спрашиваю гг. Номинculus'a, Володина и всех тех, которые разделяют их взгляд на Толстого, неужели не „страшно жить“ с человеком, предающимся подобному опустошению человеческой души? И я буду утверждать, что очень страшно, до тех пор, пока мне не докажут противного.

Впрочем я неверно выразился, сказав, что Толстой предавался опустошению человеческой души. Чтобы выразиться точнее, надо сказать так: Толстой предполагал человеческую душу пустою и старался наполнить ее добрым содержанием. Не находя источника в ней самой, он апеллировал к „чьей-то воле“. Как же возникло это постоянно встречающееся у него предположение о пустоте человеческой души?

[1] „Исповедь“, стр. 47.



2367

Ставя этот вопрос, я прошу читателя вспомнить сказанное мною выше о том, что Толстой пришел к вере путем известного рассуждения, поддержанного известным чувством. Рассудочная сторона этого процесса теперь уже достаточно ясна для нас. Легко понять, что, усвоив себе точку зрения телеологии, человек поступил бы непоследовательно, если бы продолжал смотреть на себя как на самостоятельный источник нравственности. Но мы уже знаем, что рассуждение, приводящее к телеологии, не выдерживает серьезной критики. Что же мешало Толстому заметить слабую сторону этого рассуждения? Я отчасти уже ответил и на этот вопрос, сказав, что детские верования глубоко залегли в душе Толстого. Теперь мне хочется взглянуть на дело с другой стороны. Мне хочется определить, как сложилось то настроение Толстого, благодаря которому он ухватился за детские верования как за единственный якорь спасения, закрыв глаза на их неосновательность. Тут я опять обращаюсь к его „Исповеди“.

Рассказав, каким образом он остался в стороне от идейного движения 60-х годов и каким образом жизнь его сосредоточилась „в семье, в жене и в детях, и по тому в заботах об улучшении средств к жизни“, Толстой сообщает, что на него стали находить тяжелые минуты уныния и недоумения. „Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень меня занимали в то время,— говорит он,— мне вдруг приходил в голову вопрос: Ну, хорошо, у тебя будет 6.000 десятин, в Самарской губернии — 300 голов лошадей, а потом?.. И я совершенно спешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: Зачем? Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть

благополучия, я вдруг говорил себе: А мне что за дело? Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире,— ну и что ж?.. И я ничего не мог ответить“ [1].

Что же мы видим? Забота о личном счастье не удовлетворяет Толстого, забота о народном благополучии совсем не увлекает его („а мне что за дело?“). Получается душевная пустота, в самом деле устраняющая всякую возможность жизни. Нужно во что бы то ни стало наполнить ее. Но чем? Или заботой о личном благополучии, или заботой о благополучии народа, или наконец и той, и другой вместе. Но мы видели, что забота о личном благополучии не удовлетворяла Толстого, забота о благополучии народа не увлекала его; поэтому и из сочетания этих двух забот ничего не могло выйти, кроме нуля. А это значит, что ни в личной, ни в общественной жизни не было ничего такого, что могло бы заполнить мучившую нашего великого художника душевную пустоту. Поневоле ему пришлось вернуться от земли к небу, т. е. искать в „чьей-то «чужой» воле“ необходимого ответа на вопрос: „зачем я живу?“ В этом и заключается разгадка того, что Толстой не заметил несостоятельности своих детских верований.

[1] „Исповедь“, стр. 45. В другом месте он выражается еще решительнее: „Важно то, чтобы признать Бога хозяином и знать чего он от меня требует, а что он сам такое и как он живет, я никогда не узнаю, потому что я ему не пара. Я работник, он хозяин“ („Спелые колосья“. Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого, составил с разрешения автора Д. Р. Кудрявцев, стр. 114).

Точка зрения телеологии оказалась неизбежной в его положении. Он не сам опустошил свою душу; ее опустошила окружающая его обстановка. А когда он почувствовал ее пустоту и захотел заполнить ее каким-нибудь содержанием, то по указанной причине он не мог найти другого содержания, кроме того, которое шло сверху, диктовалось „чьей-то волей“. В этом все дело.

„Радостно“ ли жить с человеком, который ни в личной, ни в общественной жизни не находит ничего способного захватить и увлечь его? Не только не „радостно“, а прямо „страшно“. Да, ведь, и ему самому жить было именно страшно, а не радостно. Радостно было жить с теми современниками Толстого, которые говорили себе словами известной Некрасовской песни:

Доля народов,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего.

Но Толстой был настроен совершенно иначе. Мысль о народном счастье и о народной доле не имела над ним силы; ее отгонял равнодушный вопрос: „а мне что за дело?“ Вот почему он был и остался в стороне от нашего освободительного движения. И вот почему люди, сочувствующие этому движению, не понимают или самих себя, или Толстого, когда называют его „учителем жизни“. Беда Толстого в том и заключалась, что он не мог учить жизни ни себя, ни других.

Толстой был, и до конца жизни остался, большим баринном. Прежде этот большой барин спокойно пользовался теми жизненными благами, которые доставляло ему его привилегированное положение. Потом, — и в этом сказались влияние на него людей, думавших о счастье народа

и о доле его, — он пришел к тому убеждению, что эксплуатация народа, служащая источником этих благ, безнравственна. И он решил, что „чья-то воля“, давшая ему жизнь, запрещает ему эксплуатировать народ. Но ему не пришло в голову, что недостаточно самому воздерживаться от эксплуатации народа, а нужно содействовать созданию таких общественных отношений, при которых исчезло бы деление общества на классы, а следовательно и эксплуатация одного класса другим. Его учение о нравственности осталось чисто-отрицательным: „Не сердись. Не блуди. Не клянись. Не воюй. Вот в чем для меня сущность учения Христа“ [1]. И эта отрицательная нравственность была в своей односторонности несравненно ниже того положительного нравственного учения, которое выработалось среди людей, „прежде всего“ ставящих „счастье народа“ и „долю его“. А если теперь даже эти люди готовы видеть в Толстом своего учителя и свою совесть, то для этого есть только одно объяснение: тяжелая жизненная обстановка покачнула в них веру в самих себя и в свое собственное учение. Разумеется, очень жаль, что так случилось. Но будем надеяться, что скоро опять будет иначе. В самом увлечении Толстым слышится очень явственный намек на это, Я думаю, что чем больше будет крепнуть это увлечение тем ближе будет к нам та минута, когда люди, не довольствующиеся отрицательной нравственностью, увидят, что их учителем нравственности Толстой быть не может. Это представляется парадоксом, но это действительно так.

Мне скажут: однако смерть²⁵ Толстого взволновала весь цивилизованный мир. Я отвечу: да, но посмотрите например

[1] „Спелые колосья“, стр. 216.

на Западную Европу и вы сами увидите, кто „просто любит“ там Толстого и кто любит его „отсюда и досюда“. „Просто любят“ его (с большей или меньшей степенью искренности и интенсивности) идеологи высших классов, т. е. те, которые сами готовы удовольствоваться отрицательной нравственностью и которые, не имея широких общественных интересов, стремятся наполнить свою душевную пустоту разными религиозными исканиями. А „отсюда и досюда“ любят Толстого те сознательные представители трудящегося населения, которые не довольствуются отрицательной нравственностью и которые не имеют никакой нужды мучительно доискиваться смысла своей жизни, так как они давно уже „радостно“ нашли его в движении к великой общественной цели.

А „откуда“ и „докуда“ именно любят Толстого люди этого второго разряда?

На это легко ответить. Люди этого второго разряда ценят в Толстом такого писателя, который хотя и не понял борьбы за переустройство общественных отношений, оставшись к ней совершенно равнодушным, глубоко почувствовал однако неудовлетворительность нынешнего общественного строя. А главное — они ценят в нем такого писателя, который воспользовался своим огромным художественным талантом для того, чтобы наглядно, хотя правда только эпизодически, изобразить эту неудовлетворительность.

Вот „откуда“ и вот „докуда“ любят Толстого действительно передовые люди нашего времени.